

Олеся Николаева

«Россия, Лета, Лорелея»

Два портрета из будущей книги

ПОЭТ И КРАСАВИЦА:
«МОЛОДУЮ ДОГАРЕССУ СТАРЫЙ ДОЖ ВЕДЁТ»

Семён Кирсанов

1

Что-то такое мне недавно приснилось, и я, проснувшись, полезла смотреть ударение в слове «танцовщица». Ну да, конечно, на «о»: танцОвщица! У меня так и было в стихотворении, которое я написала лет в пятнадцать:

Так танцуй же, танцуй же, танцовщица,
Дрессировщица собственных ног!

Просто я некогда понесла свои стихи, в том числе и «Танцовщицу», «на суд» к Семёну Кирсанову, с которым дружили мои родители, и он сказал:

— Неплохо. Только ударение — танцовщица».

А если танцовщица, то сразу размер другой — все стихотворение ползет, а оно как раз мне нравилось своей дактилической рифмой. Короче говоря, я его взяла и выкинула. И уже ничего не помню, кроме этих двух строк. И вот, проснувшись поутру и все еще держась за обрывок сна, глянула: нет, все верно. Ошибся Семён Исаакович. Но в целом он меня одобрил, похвалил и написал рекомендацию в Литературный институт — в те времена туда нужны были две такие рекомендации членов Союза писателей, а иначе стихи на творческий конкурс не принимали.

Когда он меня похвалил, его жена Люся — потрясающая молодая красавица, которая, собственно, эти литературные смотрины и организовала, воскликнула:

— Надо выпить за это шампанского! Кирсанов, я в Смоленский сбегая, пока вы тут будете разговаривать!

Это была ее идея, чтобы Кирсанов меня послушал и сказал мне нечто как мэтр, как эксперт, как классик, но при этом она предупредила:

— Будем жестокими реалистами — он может быть и нелицеприятным. Он может начать яриться и выгнать вон! Будь готова и к жесткому его суждению.

Я, конечно, затрепетала. Но все повернулось иначе, и Люся надела оранжевое полупальто букле (явно парижское, таких при советской власти ни у кого не было), вытащила из-под воротника длинные золотые волосы и убежала.

А потом мы сидели втроем в кабинете Кирсанова, и я, как взрослая, пила шампанское и принимала участие в разговорах о поэзии, любуясь и дивясь. Было на что любоваться! Во-первых, Кирсанов, признанный поэт, младший современник Маяковского, сам такой красивый старик, словно сошедший с французского киноэкрана. Люся — я уже говорила — ошеломительная красавица, каких не бывает. И к тому же она красавица веселая и экстравагантная, у нее, выражаясь словами Заболоцкого, и «сосуд» изысканнейший, и «огонь, мерцающий в сосуде» волшебный.

Однажды (это уже было в другой раз, у нас дома, когда разошлись все гости), она врубила звук проигрывателя, скинула туфли, и мы с ней полночи отплясывали самозабвенно и лихо. На меня, подростка, это произвело впечатление, я навеки ее полюбила. И отрастила длинные волосы, чтобы хоть немного быть похожей на нее.

Итак, я любовалась. И кабинет был достоин восхищения. Во-первых, письменный стол. Покрытый зеленым сукном, старинный, с резными барьерчиками, вставками, бортиками и ящичками. Картины! Пиросмани! Французские импрессионисты!

Обои, шторы, лампы, кресла... Бокалы, из которых мы пили... Такое невиданное в советское время эстетство, художественный вкус, парижский шик. Кирсанов так расслабился и умилился, что стал читать нам новые стихи. Написанные ромбом: «Бреду в аду». И «Эти летние дожди». А я попросила его прочитать «Мери-наездницу»:

Мери красавица
до конца.
С лошадю справится.
Ца-ца.
Водит конторщица в цирк отца.
Лошади фыркают: «фырк!» «ца-ца!»

Сказала, что хочу послушать, как это звучит. И он — прочитал!

Ваньки да Петьки в галёрки прут,
Титам Иванычам ложу подавай.
Только уселись — начало тут как тут.
— Первый выход — Рыжий! Помогай!

Мери на бок навязывала бант,
Подводила чёрным глаз,
А на арене уже джаз-банд
Рыжий заводит — раз!..

Ну вот. Так что танцОвщица все-таки! Но выброшенного стихотворения мне совсем не жалко. Особенно после его «Мери-наездницы».

2

С Кирсановым мы тоже отплясывали, аж искры из-под каблучков. В мрачные годы безвременщины бурно веселились, пили, танцевали, пели, ездили друг к другу — можно было среди ночи сорваться в гости из гостей «на чашечку кофе»: все были друг другу рады. К моим родителям так заваливались их друзья да еще и со своей компанией после полуночи — кстати, Люся Кирсанова часто, да не одна, а со свитой, с подругами, с Татьяной Самойловой, например, или с Татьяной Лавровой. Выхожу я как-то ночью на кухню, а там у нас Смердяков (артист Валентин Никулин) как ни в чем не бывало пьет из банки с солеными огурцами рассольчик. Это его режиссер Инна Туманян привезла. Слышен ее обаятельно-глуховатый голос.

Семён Исаакович, конечно, не мог в этих ночных путешествиях угнаться за своей красавицей-женой. Он звонил нам, отыскивая ее, и почти всегда находил.

— Кирсанов, — говорила она, переняв лексикон самого Семёна Исааковича, — не ярись! Не говори ерунду! Да, я сделала этот жест! Я готова бросить вызов этому миру! Ну что мы будем, как шерочка с машерочкой...

И она с раздражением кидала трубку, а он опять звонил, и там была какая-то драма, страсть, полыхал огонь, а ведь он был уже старик, к тому же безнадежно больной: все знали, что у него рак горла. Он любил, ревновал, страдал, умирал, бился со смертью, с воображаемыми соперниками, со всем, что могло разлучить его с Люсей, и писал трагические пронзительные стихи:

...Через дымную завесу
(где разбитый дот)
В тыл, к расстрелянному лесу,
Мокрый «Додж» идёт,
Парень держит пулемёт,
Дождь идёт, дорога к лесу.
Молодую догарессу
Старый дож ведёт. <...>
Он прижал к лицу ладони,
Мокрые от слёз.
Донна Лючия — в короне
Солнечных волос.<...>
Боже, свадебное ложе —
Тот же эшафот!
Додж идёт. В Палаццо Дожей
Хлещет пулемёт. <...>
С Моста вздохов по дороге,
Оскользясь об лёд,
Поседевший, одинокий,
Старый дож идёт.

...Так он и шел со своей Люсей — Люси. Маленький, но величественный в своей седой шевелюре, безупречно элегантный, он вводил ее в партер, в зал ресторана, в комнату, где уже собрались гости, сам на полшага позади, и гордо оглядывал всех, словно желая прочесть на лицах восхищение: то вдохновенное «ах!», с которым встречали их появление. И церемонно раскланивался со всеми.

«Молодую догарессу старый дож ведёт»!

3

Как-то раз речь у нас с Семёном Исааковичем зашла о поэтическом переводе. Он сказал, что в поэзии есть такое вещество, которое почти неуловимо. Оно растворено в самом языке. И если можно перевести с одного языка на другой смысл, метафору, образ, то это вещество в переводе надо воссоздавать заново. Поэтому, прибавил он, у нас хорошо переведен Бодлер, с его зримыми образами, и так плохо Верлен, которого вернее было бы переводить по звуку, по составу воздуха в стихотворении.

И вот я, учившая в то время французский язык, стала читать Верлена в оригинале и сравнивать его стихи с переводами.

Например, вот это стихотворение «Chanson d'automne». («Осенняя песня»).

Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une langueur
Monotone.

Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l'heure,

Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure.

Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m'emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte.

А вот перевод известного поэта-переводчика Александра Ревича, который близок к тексту, но абсолютно далек по духу. Вместо плавных, каких-то «потусторонних» верленовских «эль» здесь словно прорывающие бумагу «дры», «скри», «всхи», «рдце»: И называется оно у него «Осень в надрывах»:

Осень в надрывах
Скрипок тоскливых
Плачет навзрыд,
Так монотонны
Всхлипы и стоны —
Сердце болит.

Поэтому мне понятен путь, по которому пошел Семён Кирсанов, когда переводил это стихотворение: по легкому и плавному «сновиденному» звучанию, не упуская гласные протяжные «о», хотя и жертвуя «картинкой» и заменяя ее другой.

Лес окрылён,
веером — клён.
Дело в том,
что носится стон
в лесу густом
золотом...

Так и Марина Цветаева писала, что переводит стихи «по слуху и — по духу».

4

Вообще в картине официальной советской поэзии 60—70-х годов Семён Кирсанов занимал особое место. Во-первых, он все-таки как-никак располагался возле «первого пролетарского поэта» — Маяковского. И на него падал ответ этой идеологической благонадежности. Во-вторых, поскольку советское общество и писательское, в частности, было ритуализировано и формализовано, Кирсанову была отведена своя ниша, которую он и занял: он был поэт-формалист. Один! Был у нас, условно говоря, поэт-интеллектуал — Арсений Тарковский, поэт-фронтовик — Александр Межиров, поэт-трибун — Евгений Евтушенко, поэт-интеллигент — Давид Самойлов, поэт-лирик — Владимир Соколов, поэт-эстет — Александр Кушнер, поэт-бард — Булат Окуджава, поэт-лагерник — Анатолий Жигулин... А остальных в эти ниши не очень-то и пускали: не нужен был ни Олег Чухонцев — тоже «поэт-интеллигент», его и печатали с большим трудом, ни «поэт-лагерник» Борис Чичибабин, ни Евгений Рейн, не говоря уже об Иосифе Бродском...

Чуть отвлекусь: тогда же, на первом курсе, я отнесла стихи в «Юность», и редактор отдела поэзии Натан Злотников, встречая меня, каждый раз ласково улыбаясь, говорил: «Скоро напечатаем ваши стишочечки!» Но прошло года два, и я сама заявила к нему в журнал.

— Олесюлочка! — как всегда уменьшительно-ласкательно поприветствовал он меня. — Ваши стишечки мне нравятся, но в этом году у нас план по эстетам уже выполнен: мы Сашеньку Кушнера печатаем. Так что ждите.

Кирсанов, повторяю, был официально признан как классик. И поэтому ему много чего разрешали. Ему официально позволяли быть непохожим на советского человека. Его выпускали за границу, и поскольку он говорил по-французски, он дружил с французскими коммунистами — Морисом Торезом, не говоря уж об Эльзе Триоле с Луи Арагоном, прятельствовал он и с Пабло Нерудой.

Его прямым поэтическим учеником и наследником был, конечно, Андрей Вознесенский, который много чего перенял в своей поэтике от Кирсанова, а после смерти мэтра советская власть отдала ему и саму эту опустевшую нишу единственного поэта-формалиста.

5

У больного раком Кирсанова все последние стихи об одном — о смерти. «Никто не услышал. / Никто не пришел. / И я умер». «Оттого что я / пять минут как умер.../ Смерти больше нет! / Больше нет! / Нет!»

Я помню, как эти стихи читал над гробом Кирсанова в Дубовом зале ЦДЛ Павел Антокольский. Сам уже на пороге небытия, маленький, с большой головой, лысый, задыхаясь, он повторял, как заклинание:

*Смерти больше нет!
Нет! Нет! Нет!*

А потом он сказал: «Но смерть пришла и сказала: “Я — есть!”»

И, как посохом, стукнул палкой в пол.

И все заплакали.

Вскоре мы так же стояли над гробом самого Павла Антокольского, а потом и Давида Самойлова, и еще многих, многих...

Семёна Исааковича и Люсю (о Боже, я ее до своих двадцати лет, пока не вышла замуж, называла «тетей Люсей», а потом она мне намекнула на некоторую неуместность такого публичного обращения к ней) по вечерам часто можно было встретить в этом Дубовом зале, в ресторане ЦДЛ. Незадолго до смерти Кирсанов, увидев там старика Антокольского, ужинавшего с юной светловолосой поэтессой, игриво ему сказал: «Павлик, не порти себе репутацию!»

А однажды он оказался там один, без Люси, и сидел, мрачный, за столиком, ковыряя вилкой в салате и попивая коньяк. К нему подошел Юрий Левитанский:

— Семён Исаакович, что случилось, почему вы такой печальный?

Кирсанов поднял на него глаза:

— Какать — а как? — ответил он на вопрос палиндромом, намекая на свою болезнь.

Левитанский задумался на секунду и выпалил симметрично — палиндромом же:

— Мастер срёт сам!

6

Мама моя любила Люсю. К тому же мы были связаны с ней через ее сына — Алёшу Кирсанова — он ходил в одну группу детского сада с моим братом Митей, и они дружили. Вот на почве детских праздников, дней рождения мои родители и подружились

с Кирсановыми и часто или ужинали вместе в ЦДЛ, или ходили друг к другу в гости, тем более что и жили на одном пяточке: мы — в доме напротив гостиницы «Украина» на Кутузовском, а Кирсановы — на Смоленской площади, в доме, где было известное ателье «Машенька».

И, конечно, после смерти Кирсанова мои родители продолжали дружить с Люсей. Буквально за несколько месяцев до смерти Семёна Исааковича Кирсановым дали новую квартиру — трехкомнатную вместо двухкомнатной — около зоопарка, напротив венерологического диспансера. Несмотря на то, что они в нее переехали, тяжелое состояние умирающего исключало возможность какого-либо воссоздания там былой элегантности или хотя бы мало-мальского комфорта. Еще и шторы были не везде повешены, и по вечерам, когда в доме напротив включали свет (а это была осень, и свет включали рано), можно было видеть, как в венерологическом диспансере осматривают пациентов.

Люсе, особенно после смерти Кирсанова, было там невыносимо. Мало того, что умер муж, который был ей и отец, и наставник, и лучший собеседник, но и дома как такового, в прежнем его понимании, не было: голые сифилитики в окнах. Она все время стремилась оттуда уйти, поехать в гости, чтобы не оставаться наедине с самой собой. Но! Что-то странное стало твориться в доме. Он словно не хотел ее выпускать: то дверной замок заклинит, то соседи сверху зальют как раз в тот момент, когда она, скромно-нарядная собирается «к Белке», или «к Ольге» (Окуджава), или к нам. А на сороковой день так и вообще — загорелся у нее рефлектор, она кинулась тушить, и огонь изрядно опалил ей длинные «солнечные» волосы и обжег руку до локтя.

Но она все-таки потушила пожар, забинтовала руку, надела кофту с капюшоном и приехала к нам.

— Это Кирсанов меня до сих пор ревнует и не пускает. Я чувствую его дух — он где-то близко!

Как бы то ни было, после сорокового дня (а Люся не отмечала ни поминки, ни девятый, ни сороковой день, считая это предрассудком) эти страсти в квартире прекратились. Однако она все равно продолжала верить в его духовное присутствие. В то, что он за ней приглядывает...

А в случае чего — может и по носу щелкнуть, и подножку подставить, и перцу задать. Как ни крути, а поэт — существо мистическое, и странные вещи могут твориться по слову его. Они и творились, ибо он ее — н е о т п у с т и л.

7

Потом с Люсей подружились уже мы — я и мой жених Володя Вигилянский, которого я возила к ней на смотрины. И так мы хорошо вместе проводили время, такие у нас были вдохновенные и захватывающие разговоры, что Люся «сделала жест» и подарила нам на свадьбу... стол Кирсанова. Вот так! Стол, старинный, с зеленым сукном! С резными барьерчиками! С деревянными вставками, с ящичками, с бронзовыми ручками!

— Державин передал Пушкину лиру, а я вам дарю письменный стол Кирсанова!

Но поскольку она сюрпризом сама доставить его к свадебному пиру не могла, она просто в самый день, в самое утро свадьбы, позвонила и — вуаля! — приезжайте и забирайте! А как? У нас через два часа — загс, потом ресторан. Мы и говорим: «Завтра! Завтра!»

А Люся, между прочим, до самого последнего момента не знала, придет ли она к нам на брачный пир или нет. А почему нет? Потому что у нее нет нового наряда. И всё зависело от того, успеют ли ей привезти из Лондона новое платье или нет. Потому что у нее был там поклонник — знаменитый врач, по виду — большой пижон (она к нам его привозила), и он так Люсю любил, что одаривал ее немислимо изысканными одедами. А теперь новые-то и задерживались в дороге.

И вот мы сидим уже за длинным свадебным столом, за которым кого только не было: и друзья детства, и дружественные студенты Литинститута, и Евтушенко, и Ахмадулина с Мессерером, и Вильгельм Левик, и Михаил Павлович Ерёмин — профессор, и друг семьи граф Алексей Романович Семёнов-Тян-Шанский, уже и выпили по бокальчику-другому шампанского, и тут — звучат фанфары, двери распахиваются, и на пороге показывается — золотые волны по плечам — раскрасавица Люси в новом обалденном лондонском платье! Ура! В руках она держит букет белой сирени (! — заметим, что это 20 декабря 1975 года) и шесть английских тарелок с желто-оранжево-голубыми цветками, которые передает нам, берет в руки бокал и возглашает:

— А еще я делаю этот жест, я бросаю вызов этому миру и дарю этим баснословным людям стол Кирсанова!

...Ну, на следующий день мы за столом не поехали... Знаете, много причин: и гости новые пришли, и на улице минус 25 — это ведь 21 декабря... И дальше — Новый год... А первого января Люся нас пригласила к себе на дачу в Пахру — ей там одной тоскливо было сидеть, а нам она могла бы рассказать свою «безумно интересную человеческую историю жизни», а мы — слушатели благодарные. К тому же сессия у нас — так мы там и будем к ней готовиться. Отправились мы туда втроем. Не время искать грузчиков, не до стола! И как мы провели почти месяц — это отдельная история.

И вот в феврале уже, ближе к весне, мы, получив стипендию, решили наконец-то забрать стол.

Звоню я Люсе: когда ей будет удобно? А она как-то односложно и сухо мне отвечает. А потом как резанет:

— Знаете, будем жестокими реалистами, я тут обиделась на Женю (это моя мама) и решила стол вам не дарить. Но и дома держать его мне было неудобно — я купила новую югославскую мебель, и стол к ней совсем не подходит. Я его отдала за три копейки, я не фетишистка!

Тут у меня аж дыхание перехватило.

— Да, я сделала этот жест! Я бросила вызов этому миру.

Буквально через несколько дней я встретила в гостях у Давида Самойлова Виктора Сергеевича Фогельсона, его родственника, а заодно и редактора издательства «Советский писатель», где у меня готовилась к изданию первая книга стихов. Виктор Сергеевич общался со многими писателями, обедал в ЦДЛ и был осведомлен о многом из писательской жизни. И он, не зная предыстории, возьми да скажи:

— Был тут на днях в комиссионке и вижу: стол Кирсанова продается. Пятьсот рублей. Я Люсе позвонил, не ее ли стол, не украли ли его. А она говорит: да, мне вдруг так захотелось, я человек импульса, жеста!.. Могу музыкантам в ресторане за понравившуюся песню десять рублей швырнуть!

Я, услышав это, хотела было мчаться за этим драгоценным столом, но... пятьсот рублей! Пятьсот рублей...

— Думаю, его купили уже, — словно угадав мои мысли, сказал Фогельсон.

И какая из этого следует мораль? Может быть, надо сразу брать то, что сваливается как дар? Может быть.

Бывает, что тебе предлагают нечто, и это предложение однократно. Все, второго раза не будет...

А если промешкаешь, то, в лучшем случае, у тебя останется своя «безумно интересная непростая жизненная история».

Да, между прочим, выяснилось, что моя мама никаким образом Люсю не обижала. Это она просто так бросила вызов и сделала такой жест. По настроению.

...Одна из шести подаренных Люсей нам на свадьбу тарелок осталась у меня до сих пор. Остальные пять разбились, ведь все-таки минуло с той поры сорок пять лет. А декабрьскую белую сирень я так больше никогда и нигде не видала, хотя на свете с тех пор появилось много диковинок.

8

Итак, той холодной-прехолодной зимой, сразу после свадьбы, мы с молодым мужем переехали к Люсе в Пахру. Эта дача больше напоминала прекрасный замок — ее строили и обустраивали по замыслу Кирсанова, и получилось произведение искусства.

Беда была в том, что от мороза там полопались трубы, и находиться можно было лишь в одной комнате — небольшой каминной, естественно, с изящнейшим камином, в котором мы постоянно поддерживали огонь. Каминная соединялась стеклянными дверями с огромной залой, где теперь было невозможно холодно и прекрасно: она выходила одной прозрачной стеной в лес, отчего казалось, что и сам лес просится в дом.

Прекрасная хозяйка этого замка с распущенными волосами и в легкой меховой накидке выскакивала на мороз за хворостом и веселая, «раскрасневшаяся», вбегала в дом, бросая в огонь корявые сучья и ветки, царапавшие ей руки. И мне так нравились ее кураж, ее свободная отвага, с какой она ныряла в сугробы и приносила полные сапожки снега! В каминной стояли диван и кресла из карельской березы, но мы, с пледами на плечах, рассаживались на ковре, поближе к огню, вокруг стола, на котором всегда стояли бокалы, графин с красным вином и кое-какая пища — так, поклевать...

В поселке то и дело вырубали свет, и мы сидели при свечах, в отсветах пламени, разгоравшегося от оттаявших и высохших прутьев.

Момент в жизни Люси был драматический: у нее кончились деньги, и она решила продать дачу. И покупатели нашлись. Но она все не могла выбрать, кто же окажется достойным поселиться здесь после Кирсанова. Не могла же она допустить, чтобы *в его доме* водворился какой-нибудь вахлак, барыга! Некоторым искателям она отказывала буквально в последний момент, накануне сделки. Один из претендентов был моим добрым знакомым — первая валторна России! И я уговаривала Люсю продать дачу именно ему. Она то соглашалась, то вдруг вовсе отказывалась от идеи продажи, утверждая, что уж лучше будет питаться котлетами за пять копеек и носить пеплос, чем расстанется со своим замком. Видимо, ей казалось, что пеплос — это какое-то презренное рубище. Мой муж не совсем тактично заметил, что вообще-то котлета стоит шесть копеек, а не пять. Но Люся тут же отмахнулась:

— Ах, не говорите ерунду! Не будьте таким приземленным! Таким презренным практиком!

И она принималась снова и снова читать стихи Кирсанова и описывать историю их знакомства, приключений, путешествий. И тут слово за слово — мы заикнулись о том, что неплохо бы нам хоть немного подготовиться к экзаменам в Литературном институте, все-таки зимняя сессия! Люся вдруг вспомнила, что Кирсанов когда-то вел семинар и что где-то оставалась стенограмма его занятий. Взяв свечу, мы отправились на обледеневший чердак и среди множества бумаг и рукописей обнаружили папку с записями. Расположились вокруг камина...

Как это было интересно! Какие точные определения, замечания, рассуждения! На одном из занятий студенты отвечали на вопрос: «Почему в строке Блока “Ты в синий плащ печально завернулась” плащ именно синего цвета?» Кирсанов выслушивал их, а потом давал несколько своих интерпретаций. Одна из его интерпретационных версий удивила меня: оказывается, в культуре Средневековья «синий плащ» был знаком измены.

Меж тем мороз, как говорится, крепчал! Четыре зажженные кухонные конфорки в сотрудничестве с горячей духовкой еле-еле обогревали кухню, куда мы выползли приготовить расстегаи, которыми гостеприимная хозяйка непременно желала нас угостить. Рядом с кухней — через стенку — находилась ванная, и Люся, чтобы создать дополнительный источник тепла, включила горячую воду, поставив газовую колонку

на максимум. Колонка располагалась на кухне, благодаря чему тепло распространялось и здесь, где раскатывалось тесто и готовилась начинка, но шло и от наполнявшейся горячей водой ванны.

Люся рассказывала нам, как угощала гостей Эльзы Триоле и Луи Арагона в Париже. Она повязала голову косынкой, стянув ее узлом на затылке, чтобы ни один волосок не осквернил подошедшее тесто, надела длинный фартук и лихо на четырех сковородках одновременно нажарила целую гору золотистых блинов, которые с пылу с жару и внесла в гостиную, полную гостей. Они не обратили на нее никакого внимания, приняв за кухарку, и сосредоточились на блинах, тем более что к ним прилагались и икра, и соленая рыба, и домашний сыр, который также был мастерски изготовлен Люсей. Люся незаметно удалилась в отведенную ей комнату, принарядилась, раскидала по плечам волосы и явилась во всей красе. Французы были поражены, когда опознали в ней скромную, затянутую в фартук прислугу.

Бездетная Эльза Триоле настолько ее полюбила, что предложила удочерить. Но Люся ответила с благородным достоинством:

— У меня есть мать!

За ужином в каминной мы бурно обсуждали стенограмму семинара и раздумывали о том, где бы это можно было издать. Не забывали и согреться глинтвейном. Станным показалось только то, что у нас вдруг стало щипать глаза. Ну, да ведь третий час ночи! Спать пора! А характерный запах... А дымок...

— Люся, кажется, мы горим! — осторожно сказал мой муж.

— Ах, не говорите ерунду! Где? Где вы видите огонь? Какой вы, Володя, трусишка! Нельзя же быть таким малодушным! Вы ведь еще так молоды, а боитесь, словно вы какой-то старикашка! Стыдитесь! Сделайте какой-нибудь жест! Бросьте вызов этому миру! — отчитала его прекрасная Люси. — Ну, хорошо, хорошо, если вам кажется, что у нас дурно пахнет, я сейчас это исправлю.

И она извлекла откуда-то пульверизатор с освежителем воздуха и несколько раз прыснула из него, делая волнообразные движения:

— Запах альпийских лугов! Мы купили это с Кирсановым в Швейцарии! Идите спать и ничего не бойтесь! Альпийские луга! Альпийские луга!

Пристыженные, мы прямо в одежде залезли под несколько одеял и заснули.

Наутро мы с мужем отправились на экзамен, а Люся осталась хранить огонь в очаге. Удивительным образом в тот же день Володя встретил какого-то литературного человека, критика, которому рассказал об идее книги. А тот как раз участвовал в издании серии «Мастера о мастерстве», как-то так. Надо было теперь перепечатать записи, отредактировать их и отдать в издательство.

Переночевав в Москве и накупив продуктов, радостные, мы отправились с добрыми вестями в Пахру. Но Люся встретила нас мрачно и, ни слова не говоря, провела на кухню.

— Вот, — промолвила она, указывая на проломленную стену, на которой еще день назад висела газовая колонка. — Когда вы уехали, так стало дымить, что я позвала соседа, а он взял топор, рубанул по стене, и из нее вырвался огонь. Оказывается, нельзя было, чтобы колонка так долго работала на полную мощность — от нее стала тлеть стена. Теперь мы без горячей воды и в разрушенном доме. Ну, что вы там привезли?

И мы опять расселись возле камина, разложили по тарелкам закуски, разлили по бокалам вино. Володе не терпелось сообщить ей хорошую весть — вот, есть издательство, где с радостью издадут книгу Семёна Исааковича! Уже ждут.

— Что за издательство? — строго спросила Люся.

— Издательство «Советская Россия», серия «Мастера о мастерстве».

— Фи! — сказала она. — Пусть лучше я буду есть котлеты за пять копеек и носить какой-нибудь пеплос! Пусть лучше эта рукопись веками не увидит света, чем она будет издана в «Советской России»!

Кажется, так и случилось...

9

Люси была на тридцать два года моложе Семёна Исааковича, к тому же последние годы он был уже смертельно болен. Несмотря на то, что она его почитала («Кирсанов — гениальный человек! Можно быть гениальным поэтом, гениальным художником, гениальным архитектором, но важнее быть гениальным человеком!») и часто объяснялась с миром на языке цитат из него, подсознательно все же она готовилась к его смерти. А когда он умер, она все еще храбрилась и ожидала, что не все для нее кончено. Кто-то ей нагадал, что в сорок лет у нее начнется в жизни «самое главное». И она как-то к этому «самому главному» готовилась. Ну что — она в ту пору необыкновенно хороша собой, экстравагантна, артистична и изящна в быту — у нее и художественный вкус, и великолепные кулинарные способности, которые она развила под руководством Кирсанова. Она легка на подъем, остра на язык. И вообще у нее великолепная речь — невозможно было отвлечься, когда она говорила. Сын ее уже вырос. Казалось, ничто не мешало ей начать новую жизнь, тем более что и поклонников — людей незаурядных и вполне порядочных — оказалось у нее предостаточно.

Например. Популярный в СССР американский певец, необыкновенно обаятельный и красивый... Всеми любимый телеведущий программ для детей... Знаменитый скульптор, лауреат всех премий, богач... Но американский певец уехал, телеведущий оказался для нее «мелковат» и не смог включиться в экстравагантную реальность прекрасной Люси, путающей день и ночь и не знающей удержу в своих вдохновенных словесных полетах. А со скульптором вроде все шло отлично, и она вроде бы согласилась выйти на него замуж, но тут он взял да и помер.

— Интересное дело, — говорила она недовольно. — Хороша бы я была, если бы сейчас осталась еще и его вдовой!

Нашлись у нее и еще какие-то искатели: капитан дальнего плавания, который, по ее словам, взял ее на корабль, и они достигли фантастического острова Пряностей. И она стояла на палубе в белых брюках... Но его шансы оказались равны нулю, когда выяснилось, что он пишет стихи и делает орфографические ошибки. Потом пытал счастья какой-то среднестатистический советский писатель, прибившийся к ней в ЦДЛ. Но и он не подошел ни по человеческому, ни по профессиональному калибру. Так что, вопреки ожиданиям, все претенденты проходили мимо ее сердца и жизни. У нее началось то, что называется «комплексом вдовы».

О чем бы она ни говорила, обязательно ссылаясь на покойного мужа. При встрече всегда читала его стихи. И — непременно — рассказывала «свою безумно интересную историю», даже если это было не вполне уместно. Ее словно больше ничего не интересовало — собеседник существовал для нее лишь как слушатель, которого она посвящала в подлинную жизнь, одаривая своими рассказами и призывая его склонить голову в безмолвном восхищении. Я и восхищалась.

И при этом — долгое время после смерти Кирсанова ничего из его литературного наследия не было опубликовано: Люсе казалось, что журнал или издательство, которые просили у нее разрешения, — какие-то не те, недостойные того, чтобы прикоснуться к стихам ее гениального мужа. И она всем дала от ворот поворот.

— Я не фетишистка, — говорила она. — Я не стремлюсь к тому, чтобы хоть где-то «тиснули» стихи Кирсанова. Будем жестокими реалистами — мне не все равно, рядом с кем он окажется в этом журнале или книжной серии: шерочка с машерочкой!

Замышляла она провести и литературный вечер в его память и тщательно к этому готовилась, придирчиво перебирая кандидатуры выступающих. Обратилась и ко мне.

— Но, если ты скажешь то, что мне придется не по вкусу, я выйду из зала, громко стуча каблуками!

Она меня запугала, но этот вечер так и остался в ее воображении.

Последний раз я столкнулась с ней в поликлинике Литфонда. Она, всегда носившая шикарную «женственную» одежду, теперь была в лихих потертых джинсах, свитере и кожаном пиджачке, длинные волосы сменились короткой стрижкой, и выглядела совсем не плохо, молодежо, но уж, конечно, той ошеломляющей и вдохновляющей красоты больше не было...

Мы поцеловались, и я спросила:

— Люся, а что вы здесь? Вы не болеете?

— Я к зубному, — сказала она и прикоснулась к щеке.

И друг, словно ее пронзила какая-то неприятная мысль, переменялась в лице и махнула рукой:

— А впрочем, ерунда! Не стоит мне туда идти! Все у меня с зубами в порядке! Я не фетишистка!

И она развернулась и зашагала вниз по лестнице к выходу.

Возможно, ей пришло в голову, будто бы я подумала: «Ах, как она постарела! У нее уже и зубы крошатся да ломаются!» И она решила не показывать виду: «Ерунда! Все мои зубы в целости и сохранности, а я просто так сюда забрела!»

При всей нелепости подобного предположения это было похоже на Люсю.

Несколько раз я ей звонила, и она в очередной раз что-то мне рассказывала про свое путешествие в белых брюках, про то, что она не собирается делать реверансы этому миру и что она бросает ему вызов. Я это слышала от нее уже тысячу раз. Но на предложения встретиться она не откликнулась.

А жаль.

* * *

Ты выше ценишь не изделие,
А ткань, состав и вещество,
Прочнее камня, легче гелия
И тоньше света самого.

А я — представь — люблюсь формой,
Такой симфонией чернил,
Как будто с партитурой горнею
Художник вымысел сроднил.

Такой — Платона — взгляд понравится
Старухе дряхлой без лица:
Но образ — цел! Она — красавица!
И Муза, Муза до конца!

В небесных списках так и значится.
А что потрескался фарфор,
Мех вытерся, а тень корячится,
Так не о том и разговор.

Кого встречают там на лестнице?
Не бабку ведь — живот раздут...
Нет, руку подают прелестнице
И в сад под музыку ведут!

10

Между прочим, Люсины «безумно интересные жизненные истории», которые она, повторяя их на разные лады, могла рассказывать часами, то поднося к губам бокал красного вина, то красиво затягиваясь сигаретой в тонких нервных пальцах, были увлекательными.

Скажем, она уверяла, что познакомилась с Кирсановым, еще будучи студенткой, в очереди за свежими огурцами. И он увлек разговором, пригласил ее с подружкой к себе на дачу в Пахру и долго их мистифицировал: дескать, он лишь шофер хозяина этого замка, приглядывает за хозяйством в его отсутствие, и долго еще разыгрывал перед ними эту роль. Но Люся и в шофере увидела человека необыкновенного.

А история с кольцом вообще потрясла воображение. Люся отправлялась на практику, кажется, на Алтай. Училась она на гляциолога, и поэтому их геологическая экспедиция перебиралась с места на место по горным кручам и стремнинам. Накануне ее отъезда Кирсанов подарил ей чудесное кольцо с бриллиантом, которое она увезла с собой. И вот как-то раз, моя посуда в горной речке, она сняла кольцо, положила его на камень, а оно возьми и соскользни в воду. Просто — кануло! Как ни пытались его найти, все было безуспешно. И Люсе увиделся в этом знак: не надо ей связывать свою жизнь с этим экстравагантным стариком!

Через какое-то время экспедиция переместилась на другую стоянку, и Люся отправилась осматривать окрестности. Прошлась и вдоль речки. И вдруг видит: на коряге, торчащей из воды, что-то блестит. Она нагнулась, протянула руку, и... в ладони у нее оказалось то самое кольцо! Его унесло вниз по течению, доставило как раз туда, куда прибыла его владелица, и тут задержалось в ожидании ее появления. И Люся приняла это как провиденциальный сигнал. Коль скоро в дело вмешались такие силы, она согласилась стать женой Кирсанова.

11

Но по великому закону искусства союз дожа с догарессой был заранее обречен.

*В голубом эфире поля
Ходит Вечер золотой,
Старый дождь плывёт в гондоле
С догарессой молодой, — начал Пушкин.*

А Майков продолжил:

Догаресса молодая
На супруга не глядит,
Белой грудью не вздыхая,
Ничего не говорит.
Тяжко долгое молчанье,
Но, осмелясь наконец,
Про высокое преданье
Запевает им гребец...

Есть и еще зловещие продолжения пушкинского зачина и версии, вроде вот этой, принадлежащей чужому перу:

Догаресса молодая
На подушки прилегла,
Безучастно наблюдая
Танец лёгкого весла.

Что красавице светила?
 Что ей ход небесных сфер?
 Молчалив супруг постылый.
 Безутешен гондольер...

Но Кирсанов перебивает их и заговаривает судьбу, пытаясь отвести в сторону гребца-певца с его горестными звуками «Баркаролы заказной».

Дождь идёт, дождь идёт
 Молодую догарессу
 Старый дож ведёт.
 Через душную Одессу,
 Полумёртвый порт
 Молодую догарессу
 Старый дож ведёт.
 Через дымную завесу
 (где разбитый дот)
 В тыл, к расстрелянному лесу
 Мокрый «Додж» идёт
 Парень держит пулемёт,
 Дождь идёт, дорога к лесу.
 Молодую догарессу
 Старый дож ведёт...
 Он прижал к лицу ладони,
 Мокрые от слёз.
 Донна Лючия — в короне
 Солнечных волос!
 По разбитым бомбой рельсам
 Пулковских высот
 В гимнастёрке догаресса
 Через дождь идёт.
 Боже, свадебное ложе —
 Тот же эшафот!
 «Додж» идёт. В Палаццо Дожей
 Хлещет пулемёт.
 Парни в вымокшей одежде
 «Додж» ведут на дот.
 В золотой собор на мессу
 Молодую догарессу
 Старый дож ведёт.
 Это с ними или с нами
 Долгий дождь идёт
 Беспорядочными снами
 Войн и непогод...
 С Моста вздохов по дороге,
 Оскользясь об лёд,
 Поседевший, одинокий
 Старый дож идёт.
 «Боже! Свадебное ложе —
 Тот же эшафот!»

12

Один раз я видела, как Кирсанов «ярился».

Был такой чудесный, «длинный летний день», когда мы поехали в Пахру на дачу к Кирсановым: мои родители, мой младший брат и я. Мальчикам было тогда лет по шесть, мне — одиннадцать.

Я играла с мальчишками в индейцев, а Кирсановы с родителями сидели в саду за бокалом вина и беседовали. Потом нас позвали обедать. Мы сели за прекрасно сервированный стол, Люся разлила по тарелкам суп, и вдруг Алёшка сказал:

— Тюп ти мяти!

И они с Митькой захохотали.

— Ни ду-ду! — прибавил он.

Они покатались от смеха.

— Что такое? — строго спросил Кирсанов.

— Это значит... суп с мясом, — задыхаясь от хохота, произнес Алёшка и прибавил: — тюп ти мяти! Ни ду-ду!

И они зашлись от хохота.

Почему-то это Кирсанова ужасно раздражило. Он покраснел и прикрикнул:

— А ну прекратить.

Они на минуту смолкли, еле сдерживаясь, а потом Алёшка снова брякнул:

— Тюп ти мяти!

И оба просто забулькали, захрюкали от восторга.

И Кирсанов прямо побагровел, аж задрожал от гнева.

Если б не Люся, он, наверное, дал бы Алёшке в лоб, но она тихо засмеялась, и он сразу пришел в себя. Кашлянул и продолжил разговор.

Алёша по природе был художник — совсем детские его картины замечательны. Он все время рисовал одно и то же: клоунов. Но эти клоуны были такие выразительные, пластичные и такие непохожие: в каждом было характерное и узнаваемое скрытое движение! Казалось, вот-вот — и любой из них начнет выделять всякие смешные штуки.

Потом, через много лет, его художественный талант воплотился в дизайнерское искусство: в начале 90-х он занялся квартирным бизнесом, скупал квартиры в Москве, с тем, чтобы их перестраивать, ремонтировать по своему вкусу и продавать. Купил он квартиру и в соседнем с нашим, писательском доме — в Безбожном переулке. Там я его и встретила. Он сидел в шикарном лимузине, пригласил и меня посидеть с ним и предложил выпить за встречу коньяка из машинного бара: бар этот был размером с моего «жигулёнка». Меня это впечатлило. И сам он выглядел как красивый и благополучный бизнесмен. Я как-то перед ним стушеввалась.

А через несколько лет я узнала, что он застрелился в Мадриде. Влез в долги, не смог вернуть, скрывался, его выследили, и — вот!

...Вспомнилось, как он, подросток, когда умер его отец, все не мог найти себе места — влезал в темные истории. Один раз они с приятелем по кличке Рыба совершили аферу: разрезали пополам фирменные американские джинсы, разложили по двум пакетам и продали у гостиницы «Украина» азербайджанцам. И их поймали! Люся, а также отец и отчим его приятеля, люди известные, еле замаяли это дело, откупившись и от милиции, и от азербайджанцев.

Но помню я и записки, которые Алёшка писал матери. Люся нам их читала. Они были трогательные, грустные и нежные. Что-то такое: «Мама, прости, мне было так печально, и я зажег твои любимые витые свечи. Сидел при них весь вечер один, и они сгорели».

Так жалко этого красивого, талантливого мальчика! Вскоре после его смерти я написала стихи, в которых изменила место его гибели. Чтобы никто не понял, о ком это. Ведь тогда еще была жива его мать.

Смерть в Монако

Этого Алёшеньку я знала великолепно. Он когда-то прекрасно рисовал клоунов: у каждого — попугай и собака... А потом — вырос, сделался коммерсантом, сбежал за кордон, там обанкротился и застрелился в Монако.

Впрочем, кажется, в этом ему помогли. Тоску объясняли потом невезеньем, сплошной непрухой. ...А когда-то, чтобы свободно бегать по потолку, он мечтал стать бабочкой, мотыльком, мухой...

Сын красавицы и поэта. То франт, то аскет. Кажется, мать спилась. Не знаю, право, жива ли. А отца и вовсе забыли, как будто его и нет. А ведь даже на улицах узнавали!

Ничего не осталось! Никто не видел тот край, куда они ухнули... И лишь с улыбкой широкой на ватмане ветхом клоун, собака и попугай клянутся, что — ни при чём, ни с какого бока!

Да вольные мухи гуляют по потолкам, как ни в чём не бывало, да день не жалеет глянца! ...Монако глядит на море, гадает по облакам. Наверное, на статного чужестранца.

...Всё это так нелепо! Ну, просто, как тюп ти мяти! Как ни ду-ду...

13

Недавно я узнала о том, что Люся Кирсанова несколько лет назад умерла. А вчера мне сообщили, что убил ее Зелёный змий...

Я много лет не видела ее, и она не желала встречаться со мной. Ей не хотелось, чтобы я видела ее постаревшей, ведь она знала, как я восхищалась ее ослепительной и в то же время обаятельной красотой. Думаю, она с некоторых пор и сама не хотела видеть себя...

Вот, она смотрит в зеркало и — не узнает... Потухший взгляд, носогубные складки, мешки под глазами, морщина между бровей, седина, короткая стрижка. Кто ты, темный двойник, карикатура, путающая право и лево? Ты — это не я, не я, рождавшая в людях своим появлением онемевший восторг! Отважная, никогда не холившая себя, не считавшая нужным себя беречь, вся — свободная и естественная: мягкая волна золотых (солнечных!) волос, спадающих с плеч, стройная гибкая фигура, и то ярко-голубые, то бирюзовые, то зеленые глаза, в которых то свет, то кураж, то огонь.

Кто ты, сумрачная, сгоревшая женщина неопределенного возраста, но явно не молодая, стоящая в очереди в гастрономе высотки на площади Восстания? С квитками у окошечка ДЭЗа? Ждущая дребезжащий лифт образца 1960 года? Вперившаяся в телевизор?

Никто больше не задерживает на тебе взгляд, никто не оглядывается на тебя. Не осталось больше на свете людей, готовых выслушать твои истории, поверить им или хотя бы понять их. Некому показать старые фотографии, рисунки Алёши, черновики Кирсанова... Да никто уже и не знает, кто это такой... Нет больше и построенного им

замка в Пахре. Уже и тот музыкант — первая валторна, который мечтал когда-то купить его, давно умер. Нет и котлет ни за пять, ни за шесть копеек! Тебе больше некому бросать вызов и делать жест.

Так и ты забудь о себе! Вот ты наливаешь себе пьяное зелье, оно облегчает боль. Вот ты добавляешь — оно расслабляет мышцу на лбу. Вот ты делаешь еще глоток — и тепло разливается в груди, где-то глубоко разгорается костерок. Ты снова подносишь к губам утешительное питье — и оно дарит власть ничего не чувствовать, раствориться в пространстве, все позабыть.

Ты печально заворачиваешься в синий плащ. Он почти что пеплос. Почему он именно синий? Вот ведь главный вопрос! Как там было у Кирсанова о блоковском плаще?

Измена, траур, покой, синее море, штиль, слияние с Вселенной, единение с Сущим, растворение в вечной Истине, покров Девы Марии, небо, бесконечное небо, от которого ты уже неотличима, донна Лючия...

ЛОВЕЦ ПРОСТЫХ СЕРДЕЦ

Евгений Евтушенко

1

Мне только-только исполнилось двенадцать. Мой брат Митя снимался в то лето в «Бриллиантовой руке», где играл сына Никулина, пуляющего мороженым в физиономию Миронова. Съемки проходили в Адлере, там же в гостинице и жила съёмочная группа вместе с моим семилетним братом и мамой. А папа купил для нас с ним путевки в дом творчества «Гагры», чтобы быть поближе и в свободные дни ездить друг к другу на электричке.

Я блаженствовала: во-первых, с папой всегда было легко и весело, он меня ничем не донимал, а, напротив, давал полную свободу. А во-вторых, я вообще там жила, как взрослая: мы ходили в кафе пить кофе по-турецки, а иногда и в городской ресторан есть хачапури.

Собственно, вся моя свобода сводилась к тому, чтобы плавать до посинения в море и читать книги из богатой библиотеки дома творчества, сидя в лодке, которая стояла на приколе возле самого корпуса, где мы жили. И вот туда-то я и принесла «Огонёк» со стихами Евтушенко, который кто-то оставил в столовой дома творчества. И они меня поразили настолько, что я тут же выучила их наизусть: «Проклятье века — это спешка» и «Каинова печать».

Года за два до этого я уже написала стихотворение, которое положила считать «первым» и запомнила наизусть, хотя мною было к этому времени сочинено несколько страниц будущих романов из жизни английской аристократии восемнадцатого века. Я определяла хронотоп, расставляла героев — все они были многочисленными родными братьями и сестрами, примерно моего возраста, от восьми до десяти лет, давала им имена, которые казались мне дивными и экзотическими, описывала их внешность, характер, привычки, и после этого мне становилось неинтересно: я принималась за новый роман. Но и стихи я писала в те поры, хотя процесс мне нравился куда больше, чем результат, и я их выбрасывала. А это, «первое», было о знаменитом краковском трубаче, который предупредил город о нашествии монголо-татарского войска, и звучало оно так:

Трубач трубит, трубит, трубит.
 Монголоид за ним следит.
 Но не успел он до конца пропеть, который час, —
 Монгола ловкая рука и острый узкий глаз...
 Стрелой откинул епанчу
 И прямо в горло трубачу!

Поэтому интерес к стихам Евтушенко был у меня уже пристрастный: я начинала чувствовать свою причастность к этому искусству, к этому «духу музыки», который сама еще не могла ни постичь, ни выразить.

Через год я увидела и его самого в Коктебеле — это был август шестьдесят восьмого: события в Чехословакии. Помню, как они сидели с Аксёновым на пляже, вытянув ноги до самой линии волн, отдельно от всех, и что-то углубленно обсуждали с видом заговорщиков. Конечно, можно теперь догадаться: все вокруг явно и тайно обсуждали ввод советских танков. Именно в эти дни Евтушенко послал свою протестную телеграмму в ЦК. Потом я об этом много раз и слышала, и читала, и особенно было интересно сопоставлять аксёновскую «Таинственную страсть», где он пишет о тех коктебельских разговорах и переживаниях, с собственными впечатлениями: я, тринадцатилетняя, была где-то рядом, наблюдая со стороны за этими молодыми щеголеватыми богемными людьми. Мне тоже хотелось быть такой.

Впрочем, родители были знакомы с Евтушенко и как-то между делом меня с ним познакомили. Я робела, ведь он был уже знаменит, и скандальная слава возвышала его в моих глазах. Потом какой-то провал, пауза. И сразу после нее — воспоминание о том, как мы с друзьями как-то по-свойски посмеивались над ним, именно как над хорошо знакомым человеком, в связи с его сорокалетием, которое отмечали в Театре на Таганке.

У него был розовый костюм с начесом — шикарный, что называется «глубокий импорт», особенно по тем временам — шел 1973 год. И он в этом костюме читал со сцены стихотворение с рефреном: «Когда мужчине сорок лет...» («Ему пора держать ответ», «То снисхожденья ему нет», «Он должен дать себе совет» и т.д.). И вот он в очередной раз произнес это «Когда...» — и кто-то из зала громко выкрикнул: «Он хорошо уже одет!» И все покатались со смеху.

Примерно в это время Евтушенко после выступления пригласил нас с Александром Буравским, который тогда писал стихи, а потом стал известным сценаристом, режиссером и продюсером, в гости к своей подруге — американке Джейн Батлер, будущей третьей жене. И мы приехали с ним куда-то на окраину, в маленькую квартирку, где читали стихи. Саша был в те времена влюблен в некую прекрасную даму и читал стихи о влюбленности. Но Евтушенко ему сказал, что в момент апогея сильных чувств ничего писать о них не стоит, поскольку в это время в восприятии поэта слова увеличивают смысловую нагрузку и кажутся ему самому более весомыми и значительными, чем получается на бумаге: для читателя они порой звучат как банальность.

Еще помню, как Евтушенко собрал нескольких молодых поэтов на сцене Большого зала ВТО (там был тот же Александр Буравский, еще Марина Кудимова, остальных не помню) и представлял нас публике. В первом ряду сидел Олег Табаков, зал был полон. Ну, и я таким образом как бы попала в круг «учеников» Евгения Александровича. Мы с Мариной так и называли его, правда, с легкой долей иронии — «Учитель». И при этом значительно переглядывались, улыбаясь.

А потом у меня была свадьба, которую мои родители решили отпраздновать на ресторанной веранде Дома Литераторов. Приехали туда, а из Дубового зала выходит Евтушенко. Пригласили и его. Он оказался как бы таким «свадебным генералом».

Но всё было не так просто. За несколько месяцев до этого мой молодой муж Владимир Вигилянский напечатал в альманахе «Поэзия» статью о поэзии Евгения

Александровича, где критиковал его последние стихи. Притом убедительно и тонко. Евтушенко и так в ту пору многие ругали, но то были претензии с политической и идеологической окраской, а Володя подходил исключительно с эстетическими и этическими критериями. Эта статья произвела впечатление на литературный мир и больно уязвила Евтушенко, когда он наконец ее прочитал. Но, от души поздравляя молодоженов, он и не подозревал, какого дракона сладкоречиво чувствует.

Потом, конечно, это открылось, и с тех пор, встречая нас в ЦДЛ, он неизменно пускался в длинные объяснения с моим мужем, патетически восклицая, как он нас всех защищает и от цепких лап советской власти, тянущихся к нашему горлу, и от КГБ, принимая удар на себя.

Так, в очередной раз, случайно встретив мужа в баре ЦДЛ, он преградил ему путь и вновь принялся выяснять с ним отношения, повторяя, как он грудью отражал нападения госбезопасности, которые могли сокрушить наше поколение, и отстаивал свободу слова.

— Да как вы могли вообще такое написать? — распалял он сам себя. — Надо же учитывать обстановку в стране, контекст. Получается, что вы примкнули к моим гонителям — ретроградам, которые выступают против всего прогрессивного и демократического!

Мимо, в Дубовый зал, проходил в это время Андрей Битов. Евтушенко подключил и его:

— Вот ты скажи. Имел он право писать обо мне разгромную статью?

Битов посмотрел на Евтушенко, посмотрел на Вигилянского, усмехнулся и произнес:

— Имел.

Такова была драматическая завязка отношений Евгения Александровича с моим мужем.

Всё осложнялось еще и тем, что Евтушенко в это время разводился со второй женой Галей, и она на суде представила эту статью как свидетельство поэтической и душевной деградации супруга: ее адвокат зачитывал цитаты оттуда.

Но я старалась не влезать в их споры. Мне Евгений Александрович был очень симпатичен, встречи с ним были в радость, и, когда я глядела на него, мне всегда хотелось улыбаться. К счастью, вскоре ветер переменился, и беззлобный и незлопамятный Евтушенко уже вполне дружески общался с нами. Мне казалось, что ему хочется понравиться не столько мне, сколько Володе. Это ведь всегда бывает заметно. Он был такой искатель любви — от всех поголовно встречных и поперечных, знакомых и незнакомых, даже идеологических противников и врагов.

Однако в его обширном окружении — ближнем и дальнем — почему-то считалось хорошим тоном над ним снисходительно подтрунивать и панибратски называть Евтух. Хотя — это было видно — им льстило быть или просто воображать себя с ним на короткой ноге.

2

У меня четыре года лежала моя первая книжка стихов «Сад чудес» в издательстве «Советский писатель», еле-еле двигаясь по издательским планам к своему выходу в свет, а тут всё вдруг застопорилось. И её редактор Виктор Фогельсон сказал мне: «Хорошо бы кто-нибудь из влиятельных написал о тебе Егору Исаеву» (тот был в издательстве главным по поэзии). Я, по счастливому стечению обстоятельств, встретив едва ли не на следующий день Евтушенко (он пришел в Дом железнодорожника, где я читала стихи), попросила его заступиться за мою книжку. И он сел в фойе и чуть ли не на коленке написал записку: вроде того, что стихи хорошие и «спокойные». Последнее, думаю, в политическом смысле.

У Евтушенко была репутация защитника. Известно, что он участвовал в судьбе Бродского, пока тот находился в ссылке: писал письма итальянским коммунистам, с которыми водил дружбу, добивался, чтобы они воздействовали на верховных советских функционеров, и лично приложил руку к досрочному освобождению опального поэта, помогал ему и деньгами, и вещами. В результате этой «мягкой силы» тому сократили срок ссылки. Поддерживал он и молодых поэтов — например, Дениса Новикова. К нему нередко обращались за помощью в тяжелом материальном положении как к благодетелю и «народному заступнику». Как-то раз я выхожу из калитки в Переделкине (это было в середине восьмидесятых годов), и стоит целая группа людей, спрашивают: «Где дача Евгения Евтушенко?» Я показала, заметив, что он сейчас в отъезде. «Как жаль, у нас на него была такая большая надежда!» Оказалось, это отказники, которые хотели эмигрировать в Израиль и решили попросить помощи знаменитого поэта в получении разрешения на отъезд: они знали из своих источников, что он многим уже помог в подобной ситуации.

Да и я ему подкинула на подпись три коллективных письма, два из которых он подписал, а третье — отказался.

Это — третье (а на самом деле, первое) — письмо должно было лечь на стол и в Союзе писателей, и в ЦК, и, возможно, еще где-то, в самых верхах: этим занимался Лев Копелев, и было оно — в защиту «метропольцев», на которых начинались гонения, в большей или меньшей степени жесткие. Евгения Попова и Виктора Ерофеева исключили из Союза писателей, что вызвало возмущение в писательской среде. Юнна Мориц, как уверял Лев Зиновьевич, во всеуслышание заявила в кафе ЦДЛ, что если их и правда исключат, то она первая положит на стол свой писательский билет. Копелев решил обойти писателей, у которых были или могли быть подобные настроения, и предложить им подписать письмо в поддержку гонимых. И мне предложил разделить между нами тех, к кому стоило обратиться. Сам он пошел, кажется, к Борису Можаяву и Олегу Васильевичу Волкову, а мне выпало идти к Юнне Мориц и к Евтушенко.

Мы с Юнной Мориц жили тогда в одном доме в Астраханском переулке, и я, договорившись о встрече, тут же отправилась к ней. Но она письмо подписывать отказалась категорически и развернула передо мной конспирологический сюжет, по которому вся история с созданием и печатанием «Метрополя» за границей оказывалась спецоперацией КГБ. А если она подпишет письмо, говорила она, и, если что, лишится писательского билета, то некоторые темные силы этого только и добиваются: будут потирать руки.

Потерпев фиаско, я, уложив детей, отправилась на ночь глядя в Переделкино к Евтушенко и в одиннадцатом часу позвонила в его калитку. Он был заинтригован. Пригласил меня в дом, усадил в кресло, налил вина и устроился поудобнее, собираясь выслушать мое дело. Но стоило мне заикнуться о «Метрополе», он вскочил, замахал руками и стал обвинять Аксёнова в том, что тот накапливает свой «символический капитал», чтобы отправиться с ним в эмиграцию, а остальных просто использует в темную. По его обмолвкам и интонации я вдруг поняла, что он обижен — его не позвали, не предложили, оставили на обочине... И вот теперь хотят воспользоваться его именем. В общем, и здесь меня ждал облом.

Другое письмо, которое я носила Евтушенко на подпись, было в защиту земель вокруг переделкинского Преображенского храма. Ко мне обратился его настоятель архимандрит Владимир Зорин с просьбой обойти насельников городка писателей, желательно «с именами». И мы с ним отправились к Вознесенскому, потом к Битову, а потом уж и к Евтушенко. И вот произошла чудная сцена. Только мы вошли в дом следом за хозяином, как отец Владимир, оглядевшись, вдруг продекламировал:

— Проклятье века — это спешка,
И человек, глотая пот...

— По миру мечется, как пешка,
Попав затравленно в цейтнот, — подхватила я.

И далее мы уже читали хором, наизусть:

— Поспешно пьют, поспешно любят,
И опускается душа,
Поспешно бьют, поспешно губят
И также каются спеша...

И так — до самого конца. Надо же, с двенадцати лет я это, оказывается, помнила...

Евгений Александрович буквально остолбенел, изменился в лице, расплылся в улыбке, порозовел. Да и мы сами были поражены этому внезапному экспромту, исполненному весьма эффектно.

Никак не могли его убедить, что мы специально не договаривались, не готовились, не репетировали. Он качал недоверчиво головой и, подмахнув письмо, усадил нас пировать, потребовав при этом вызвать к нему на дачу и моего мужа.

Ну, и еще одно письмо было в защиту Павла Проценко, которого посадили в тюрьму на Украине за то, что собирал материалы о новомучениках. Евтушенко его подписал вместе с другими защитниками, и Павла вскоре освободили.

Потом возникла такая ситуация, когда нам надо было достать подложный паспорт для одного монаха-бедолаги, проведшего детство и отрочество в скиту, в Кавказских горах, и вынужденно спустившегося в мир уже совершеннолетним и беспаспортным. История эта довольно известная: я описывала ее в своих книгах, у меня был роман в стихах «Августин», который публиковался множество раз, а кроме того, этот сюжет был описан еще и в книге архимандрита Тихона «Несвятые святые», вышедшей баснословным тиражом.

Итак, я позвонила Евгению Александровичу и попросила его о встрече. Он тут же откликнулся, однако сказал, что у него есть единственный вечер, потому как он уезжает в дальние страны. Но и этот вечер, в принципе, у него занят, поскольку он принимает в ЦДЛ классика английской литературы Грэма Грина.

— Но, — сказал он, сделав паузу, — я и тебя могу туда взять. Там и улучим минутку, поговорим.

Это меня более чем устраивало, к тому же хотелось познакомиться со знаменитым писателем, чьи книги я читала по-английски, когда училась в английской школе, где у нас в течение трех лет были уроки английской и американской литературы, по два в неделю. Он провел меня в знаменитую комнату номер восемь, где обычно проходили обсуждения поэтов, прозаиков, критиков. Она располагалась над Дубовым залом ресторана ЦДЛ, и на сей раз ее длинный стол был накрыт скатертями и уставлен яствами и напитками. Это была официальная встреча, и поэтому там присутствовали незнакомые официальные люди, сопровождавшие иностранного писателя. Произошел какой-то приветственный разговор, все выпили за литературу, закусили, и я рассказала Грэму Грину, как тщательно мы разбирали его «The Quiet American» в классе, кажется, в девятом. Сопровождающие лица поначалу дернулись и напряглись, но постепенно расслабили мышцы лица: все-таки в моей речи были нотки патриотизма, пусть косвенного, — мол, вот что изучают в наших советских школах! Вот так, господин писатель, не лыком шиты! Он очень учтиво меня выслушал и совсем уж неучтиво отвернулся от своей спутницы — венгерки, которую привез с собою в Россию: всякий раз теперь, когда он брал слово, обращался ко мне.

Но делу время, потехе час, и я сделала знак Евтушенко, что пора бы нам и

поговорить. Спустились в бар, сели за маленький круглый столик, и я рассказала ему вкратце о беспаспортном монахе с Кавказских гор, и о том, что теперь, когда он попал в Москву, ему грозит и армия, и даже тюрьма.

— Помогите мне сделать ему подложный паспорт, — наконец, сказала я прямо.

Евтушенко взглянул на меня лукаво:

— У тебя что — с ним роман?

— Ну какой роман с монахом! — я возмутилась.

— А ты готова пойти на жертвы?

— Что надо сделать? Я готова.

— Тогда отдай свой паспорт моему водителю и сторожу, он его использует в изготовлении нового — для твоего монаха. Ну, в принципе, я нечто подобное от тебя и ожидал.

Но потом оказалось, что это так — трёп, блеф: он просто меня испытывал. И правда — если бы у его водителя были такие знакомства и возможности, то зачем бы ему понадобился мой паспорт?

Был, конечно, у нас еще один путь — попытаться сделать это через цэдээльских прибалтненых бильярдистов, которые играли каждый день там же, в подвале, но мы решили для спасения монаха пойти другим, менее криминальным путем.

Как я уже говорила, была такая манера среди писательской и околосредственной публики — во-первых, панибратствовать с Евтушенко и тыкать (но к этому, кстати, он сам располагал: «Зовите меня просто Женя»), а во вторых, — говорить о нем если не пренебрежительно, то с ироническими подмигиваниями и насмешками, а то и поругивать, втайне тщеславясь знакомством с ним. Это придавало веса. В Пёстром зале ЦДЛ, среди многочисленных рисунков и надписей на стенах была и такая: «Я сегодня, ев тушенку, вспоминал про Евтушенко».

Но он видел в этом близость к разным слоям советского общества — получал удовольствие и от компании вышеупомянутых бильярдистов, и от общества библиотекарей ли, шахтеров или военных — от всей читательской публики. И вот это «вань-вань» с ними казалось ему залогом их любви к нему.

Честно говоря, и я с юными друзьями-поэтами этого не избежала, хотя мы с моим приятелем по Литинституту Андреем Богословским во времена нашей ранней юности ходили на поэтические вечера Евтушенко, смотрели «Под кожей статуи Свободы» — спектакль по его стихам в Театре на Таганке. Но, снобы, — всё это как бы свысока... А уж над его участием в фильме про Циолковского, чью роль он исполнял, расхаживая по экрану с трубой около уха, по причине глухоты своего героя, потешались вовсю. Особенно смешил нас поэт Виктор Гофман, который похоже изображал Евтушенко в его новой ипостаси. Ходили слушать и Вознесенского в Большом зале ЦДЛ, тоже с какими-то кривенькими улыбочками. Но они оба оказались куда великодушнее нас, хотя бы в искреннем расположении, а потом и дружбе.

К концу 80-х Евтушенко собирался снимать фильм «Похороны Сталина» и увлеченно — взахлёб — рассказывал об этом. Он почти уже написал сценарий, сам назначил себя режиссером и самому себе дал роль скульптора, который всю жизнь лепил-лепил усатого вождя и, в конце концов, разбил молотком собственные поделки. И, репетируя, показывал нам, как он будет их рубить, взмахивая воображаемой кувалдой. На роль английской журналистки была приглашена знаменитая Ванесса Редгрейв, да и актерский состав производил впечатление: Алексей Баталов, Майя Булгакова и Савва Кулиш.

Пригласил он сниматься и нашу семью — в эпизодах, в массовке, разумеется. Мой муж изображал там сына Сергея Прокофьева, который был похоронен в один день со Сталиным, я стояла на могиле композитора в облике монашки — в черном пальто и платке, а наши дети играли детей репрессированных. Младшая — трехлетняя

Настя — получила реплику в сцене, когда приходят в коммунальную квартиру арестовывать ее отца. Она выходит навстречу энкавэдэшникам и произносит трудно артикулируемую фразу:

— А вы его уже арестовали!

Как мы ни убеждали Еvtушенко, что ребенок не может такого сказать, если взрослый насильно не вложит ему это в уста, он настаивал на своем.

Поскольку все цветы в этот день предназначались исключительно почившему вождю, маме Евгения Александровича — Ольге Ермолаевне, которая исполняла роль матери Прокофьева, было предписано принести и поставить на могилу сына цветочек в горшке.

Таким образом, все мы поучаствовали в этом действе, картина была готова, смонтирована, и Еvtушенко пригласил нас на ее прогон. По сути, это был самый первый просмотр.

Я поехать туда не смогла, но вот мужа Еvtушенко забрал с нашей дачи и обещал собственноручно доставить обратно.

Надо сказать, что в это время мы уже крепко подружились: старые обиды были позабыты, мы поселились в городке писателей и оказались рядом с ним, поэтому часто ходили в гости друг к другу, молились за его семью во время крещения его сына Жени в здешнем храме Преображения Господня, потом все это широко отмечали и праздновали. И складывалось такое впечатление, что Евгений Александрович (уже просто — «ты» и «Женя»), настолько упоен дружбой с Вигилянским, что не может жить без него. Да! Володя тогда работал в «Огоньке», где Еvtушенко публиковал свою «Антологию русской поэзии», и тот часто заезжал за ним, чтобы вместе ехать в редакцию. И вот в этот идиллический период они и отправились на прогон фильма.

Вернулись глубоко за полночь. Как мне показалось, Еvtушенко был нетрезв, если не вовсе пьян, и выглядел обескураженным, а Володя был мрачен и безмолвен.

— Нет, ну ты скажи, скажи ему, что он молчит? — с этими словами начинающий кинематографист обратился ко мне. — Он после просмотра не сказал мне ни единого слова!

Вигилянский выглядел подавленным.

— Может быть, он поражен до глубины души? — осторожно предположила я и, чтобы немножко разрядить напряг, который сгустился так, что сам воздух стал тяжелым, быстренько накрыла стол.

— Мы после банкета, — вздохнул Еvtушенко, тем не менее, разливая вино по бокалам.

Просидели так полчаса, я постаралась говорить на отвлеченные темы, Еvtушенко вяло вставлял свои реплики, муж продолжал молчать как партизан. Расстались уже к раннему июньскому рассвету.

— Ужас, — сказал Володя, как только за Еvtушенко закрылась дверь. — Я и правда — потрясен. Никогда не видел ничего подобного!

— И что? Ты не мог сказать что-нибудь утешительное? Подбодрить художника?

— Не мог.

Но Женя оказался благородным, решил впредь не показывать виду, что он обиделся, и выкинул прочь эту черную кошку, пробежавшую между ними.

3

Этих кошек было много. Во-первых — давняя статья моего мужа. Во-вторых... Впрочем, надо об этом рассказать.

В середине и конце восьмидесятых в Переделкине была совсем иная жизнь, не такая, как теперь. Она бурлила, она радовала сердце, она завязывала дружбы; во всех смыслах — закручивала романы; слагалась, как стихи: чем случайней, тем вернее;

склоняла к авантюрам; провоцировала скандалы и дуэли; тянула в лес и на святой источник; располагала к метафизическим полетам и созерцанию. Все были живы, в переделкинском Доме творчества проводили дни и ночи Евгений Михайлович Винокуров, Михаил Рощин, Инна Лиснянская, Семён Липкин, Анастасия Цветаева с Евгенией Куниной, Арсений Тарковский; пребывали на дачах Александр Межиров, Фазиль Искандер, Олег Васильевич Волков, Андрей Битов, Андрей Вознесенский, Вячеслав Всеволодович Иванов, Евтушенко, семья Асмусов, Георгий Гачев и Светлана Семёнова, разводил кур Егор Исаев...

Приехала из Тамбова Марина Кудимова, пришла к нам со своей подругой — красавицей-актрисой Мариной Ливановой, с которой они решили нас разыграть. Актрису Марину представили нам как австралийскую журналистку и переводчицу. Она говорила с легким и милым акцентом. Но мы как-то быстро утратили к ней интерес и принялись с Кудимовой обсуждать текущие литературные дела. И Марине Ливановой стало скучно притворяться, она призналась, что расхотела продолжать этот розыгрыш. Ну и ладно, посмеялись и забыли.

Почему-то решили пойти в гости к Межинову. Мой муж обещал тоже прийти туда после работы — попозже. Словом, отправились к Александру Петровичу втроем, три грации, причем обе Марины решили для интереса разыграть и его. Все-таки с австралийской журналисткой интереснее. Он обрадовался, поставил на стол бутылку водки, а закуски у него никогда не было. Внезапно на дачу ворвался всклокоченный Егор Исаев.

— Дивчата, парни, — выкрикнул он с порога. — Вы не видали тут Колю Воронова?

Он принялся искать его, заглядывая под диван, отодвигая стулья, едва ли не выдвигая ящики.

— Коля Воронов, отличный прозаик, — пояснял он. — Видели его?

— Не-ет, — робко отвечали мы. Межиров наблюдал с интересом за этим таинственным действием.

— А приходите ко мне. У меня огурцы, как дубки, — вдруг предложил Егор Исаев и для наглядности показал нам кулак. — У меня и куры-несушки!

Впрочем, он тут же и удалился столь же стремительно, как и появился.

Вторым действием здесь было появление Евтушенко, «Учителя». Увидев такое общество, он вернулся домой и принес с собой вино и кое-какую снедь. Особенно его заинтересовала наша австралийская Марина: красивая и обаятельная иностранка, которой он захотел понравиться. Она к тому же обнаружила завидное знание его стихов, обещала их перевести и пригласить в Австралию. Кстати, Евтушенко всегда так реагировал на новых для него людей и пытался их сразу обаять. А мы с Мариной Кудимовой были ему уже давно известны и не так интересны. Он знал, что наши сердца уже завоеваны им.

С губ Александра Петровича, который наблюдал этот легкий флирт, не сходила чуть заметная улыбка. Возможно, он разгадал нашу мистификацию и готов был участвовать в ней, пользуясь доверчивостью Евтушенко. Я вспомнила, как он рассказывал при Евгении Александровиче о труде Отто Вейнингера «Пол и характер», а Женя потом обратился к Вигилянскому, интересуясь, нет ли у него самого или не может ли он достать заинтересовавшую его книгу «Полухарактер».

И тут вечер перешел в свою финальную фазу, ибо наконец появился мой муж.

— Вигилянский! — с удовольствием произнес Евтушенко, тут же переключая внимание с прекрасной австралийки.

Усадили его за стол, налили, и Женя тут же вскочил на любимого конька. Снова заговорил о том, как он нас защищал, расчищал путь к демократии, отстаивал свободу слова... Выпили, кстати, уже немало, да еще с хилой закуской. Он был на взводе. Володя сказал что-то в пику ему. Он взвился. Тот, отвечая что-то запальчиво, махнул рукой, случайно задел пустую бутылку, она упала со звоном рядом с ногой Евтушенко.

— Видите, видите, — вскричал он. — Вигилянский хотел меня ударить!

Он схватил отбитое горлышко — «розочку» и выскочил с ней на улицу. Встал перед открытым окном, у которого мы сидели, и принялся вызывать оппонента на дуэль. Но Володя и не подумал сдвинуться с места. Конечно, он был тридцатипятилетний молодой человек, во цвете сил, а противником его становился пятидесятичетырехлетний «старик», как ему, да и нам с Маринами тогда казалось.

И тут Александр Петрович, глядя чистыми прозрачными глазами, проговорил:

— Пойдите, пойдите! Он вас зовет. К тому же — вот, забыл здесь очки, отнесите ему.

То есть Межиров попросту провоцировал драку. Тонкая улыбка играла на его губах.

— Не ходи! — дружно попросили мы с Маринами.

Но Володя взял очки и двинулся к двери. Мы следом. Евтушенко стоял, всклокоченный и бурлящий, размахивая «розочкой». Мы с Маринами облепили его со всех сторон, умоляя пойти домой.

Кудимова сказала:

— Пойдем, мы тебя уложим спать!

Но он все еще кричал что-то о свободе, вырывался из рук. И на следующий день его соседка спросила меня:

— А что это было прошлой ночью? Зачем вы обижали Евтушенко? Он так отчаянно вопил! Я посмотрела — было уже три часа!

Видимо, Евгений Александрович слишком переволновался: наутро у него появилось на ноге рожистое воспаление. Мы отправились к нему навестить и помириться, но он по-настоящему болел, страдал, не хотел никого видеть. Тогда я написала ему письмо — мне казалось, оно было трогательным. И лишь после этого он сдался, мы посмеялись над произошедшим, и тогда уже началась настоящая любовь.

Как только он поднялся с одра болезни, он заехал за Вигилянским и позвал его на футбол. Оба, как заправские болельщики, в кепках, отбыли на стадион, где простояли в очереди и купили билеты. Причем мужики, стоявшие с ними, узнали знаменитого поэта:

— Ты, что ли, Евтух? А это — что, сын твой? Похож! — показали они на Вигилянского.

Женя потом возмущался этим.

— А что тут возмущаться? — удивилась я. — Меж вами разница в девятнадцать лет! Вполне нечто такое могло бы быть!

Он согласился.

Ну, и всякий раз, когда он появлялся, происходил какой-то театр. Например, настал такой момент, когда нам, переделкинцам, стало не без оснований казаться, что нас всех вот-вот выпрут из городка писателей. И мы решили все вместе помолиться, прося Бога и покровителя этих мест — митрополита Филиппа (Колычева) нас защитить. Когда-то здесь были владения бояр Колычевых, чей род, по преданию, истребил Иван Грозный, как известно, прозванный за свою свирепость Васильевичем. Вот и митрополит Филипп принадлежал к этому славному роду.

Вигилянский уже стал священником, и мы решили, что все соберемся на молебен у нас дома — перед нашей чудотворной иконой «Всех скорбящих Радосте» и иконой Святителя Филиппа. Пришли Олег Чухонцев с Ириной Поволоцкой, Марина Кудимова с Надей Кондаковой, Инна Лиснянская, философ Светлана Семёнова, еще кто-то. К концу молебна появился и Учитель, по летнему времени в ярких трусах, расписной майке и молодежной бейсболке, а в руках — теннисная ракетка. Все мы были ему хорошо известны, а вот Светлана Семёнова оказалась для него «на новенького». После молебна сели за стол праздновать нашу встречу, а Женя принялся, заигрывая, пикироваться со Светланой. Наконец, она сказала ему:

— Евтушенко, вы для меня то же, что и Жириновский в политике.

И в этот момент ножки стула, пластмассового, принесенного с веранды, под ней подломились, и она оказалась на полу. Что ее ничуть не обескуражило. Как ни в чем не бывало она продолжала:

— Вот вы — публичный человек, и вас бы это сконфузило, а я очень просто к такому отношусь!

Она вполне убедительно показала, чем настоящий философ отличается от поэта.

И пораженный Женя переключил внимание на моего мужа:

— Вот ты мне скажи, отец Владимир, почему мне не дают читать стихи в православном храме? Я читал в католических соборах, протестантских кирхах, в синагоге, в буддийском дацане, а меня, православного человека, не допускают к чтению стихов в моей родной церкви?

Тот стал ему объяснять, рассказывать про богослужебные тексты, про святость храмового пространства, но он не унимался. Кажется, это уязвляло его почти до конца дней. Наконец, когда он снова завел об этом речь, я ему сказала:

— Женя, а напиши акафист или канон, тогда, может, и тебя там прочитают.

Но, честно говоря, сомневаюсь, чтобы он знал, что это такое...

4

Стихи, чтение их на публике, поэзия — было, несомненно, главным делом его жизни. Затертый от употреблений мем «Поэт в России больше, чем поэт» составлял для Евтушенко «Символ Веры», который не потерял своей значимости в его сознании даже тогда, когда он прилетел из Америки в начале 90-х и устроил свой вечер в Большом зале ЦДЛ. Пригласил и нас, причем приманил тем, что привез для меня Антологию русской поэзии, изданную по-английски, где были и мои стихи. Я вошла в зал и — о Боже! — он был заполнен едва ли на треть. А где толпы поклонников? Где конная милиция былых времен, наконец?

Женя, как всегда, прекрасно и выразительно читал стихи, но зал, погруженный в полумрак, молчал. А если и раздавались вдруг какие-то хлопки, они были жидкими и рождали лишь досаду. Наконец, он кинул в зал что-то такое: почему не реагируете, не хлопаете? А оттуда раздался голоса: а нам это уже неинтересно — все это «Танки идут по Праге», мы это проехали. Отправились наши танки давным-давно в утиль.

Он возмутился, вызвал обидчиков на сцену, на словесный бой: выходите сюда, если не трусы! Никто, конечно, не вышел, не оживил этот вечер внезапным театральным экспромтом. Так все и кончилось — темно и вяло. Я пришла к нему за сцену, и он вручил мне роскошный том в красной суперобложке.

— Что у вас тут происходит? — спросил он строго. — Что, поэзия уже больше никого не интересует? Или — пришли иные времена, взошли иные имена?

Я промямлила что-то в ответ.

Потом мы встретились с ним на Кубе на международном фестивале поэзии. Я прилетела ночью и, едва продрал глаза, спустилась к завтраку, чтобы залить в себя изрядное количество кофе. А тут — бац — по дороге к кофемашине — Евтушенко. И сразу быка за рога, без «здрасьте», без «привет»:

— Где у твоего Фета о крестьянских бунтах?

Я даже вздрогнула. Это, по-видимому, он прочитал эссе «Поэзия как энергия» — мою речь на вручении премии «Поэт», где я говорила и о Фете, о том, что «не жизни жаль с томительным дыханьем», «а жаль того огня». Мысль медленно, как тяжелая рыба, ворочалась в моей голове.

— Где у него о соляных бунтах? — наступал на меня Евтушенко. — Где о бомбистах? Где его Лиссабон, наконец? Ты знаешь, что писал Достоевский? О том,

что, если бы во время Лиссабонского землетрясения поэт написал стихотворение «Шёпот, робкое дыханье», — это было бы актом безнравственности!

Сказал, сверкнув очами, и отошёл в сторону, направляясь к шведскому столу за омлетом и колбасой.

А я так и осталась стоять с полуоткрытым ртом, бессмысленно лупая глазами. Потом напилась кофе, вернулась в гостиничный номер и выдала стихотворение по горячим следам.

Поэты

Знаешь, мне жаль поэтов:
многие из них сбиваются с панталыку,
заболевают, сходят с ума.
Повторяют со значением:
«Лето» и — прислушиваются,
а потом тянут: «Зима».
Мёртвых на чёрных погостах расспрашивают
о тайне славы, призывают к ответу.
Воздух-оборотень их морочит:
шарф, капюшон, пальто...
И они клянутся, что наконец-то поймали ЭТО:
Бог весть кого, Бог весть что.

Вот и поэт Женя в нищей Гаване
повёл на меня полки, снарядил легион:
— Где у твоего Фета о крестьянских бунтах?
Где у него о бомбистах?
И где его Лиссабон?
Так перессорились поэты Юра и Саша
из-за Некрасова — того еще, который Н.А.,
разгородились стеной.
В восемьдесят восьмом,
в Париже, в гостях у Лосских.
Один говорил: «Он прекрасный!»
Другой: «Ужасный! Дурной!»

А потом, уже ночью, вернувшись с выступлений, ему вдогонку:

* * *

— Вы верите в литературу? —
спрашивает молодой стихотворец.
А сам, как видно, сильно поиздержался, бедняга,
поистрепался, устал.
— О, — отвечаю, — я никогда её не поставлю на пьедестал.
Идола из неё не сделаю, ладана не воскурю,
не зажгу восковой свечи,
буйну голову за неё не сложу в чистом поле,
душу не заложу в ночи...
Ибо я насмотрелась на ваалов её и асарт,
как пожирает она живьём,
смотрит осоловело с окаменевшим на плече соловьём.
С потрохами заглатывает всё, что дают, с требухой,
и из всех сточных потоков всегда выходит сухой.
А подступится к ней новобранец,
одной рукой пистолет сжимая, другой — теребя ус:
«А ну отвечай, старуха,
что там за правила у тебя и секреты,
какие-такие тройка-семёрка-гуз?»

Так она надвинет на лоб чепец, задрожит,
сделает вздох глубокий
притворяясь, что — угадал: мол, именно так и то...
И он потом всю жизнь собирает текучие строки
в дырявое решето.

5

Он уже сильно хромал, но все еще держался с куражом. Читал стихи в Гаване в недействующем католическом соборе, бегло говорил по-испански, явно щеголяя этим передо мной, потом повез меня в пампасы — в какую-то деревню, где, оказалось, его ждали высокопоставленные кубинские лица. И он там снова читал стихи.

Его любовь к поэзии, к стихам была беспримерна. Он любил страстно и бескорыстно. И в поэзии он разбирался, понимал ее, чувствовал, если обнаруживал хоть какие-то ее признаки у кого-то, пусть и в зачаточном состоянии — хотя бы в одной строфе, в одной строчке. А иной раз он запоминал наизусть стихотворение целиком, даже когда его автором оказывался совсем не известный человек (стихотворец, поэт), и так искренне радовался этому открытию, читал всем, кто оказывался в тот момент рядом. Более того, он мог оценить тех поэтов, с которыми у него были напряженные отношения и которые его самого, мягко говоря, не почитали, а то и вовсе не признавали. Но он был способен подняться над своими житейскими чувствами, симпатиями и антипатиями и оценить эстетическую, художественную сторону произведения своего оппонента, а то и ненавистника. И эта идея — составить «Антологию русской поэзии», которой он занимался на протяжении последних чуть ли не тридцати лет, — была ему, конечно, и по душе, и по плечу.

Я хорошо помню, как однажды позвала его к себе на семинар в Литературный институт. Он мне сказал:

— Я к тебе приду с одним условием: я почитаю немножко, а потом пусть мне почитают твои студенты.

Я это студентам передала, сия весть разлетелась. В конце концов собрался весь институт, студенты, аспиранты, преподаватели да еще с друзьями — набился полный актовый зал. Евтушенко читал свои стихи щедро — часа два с половиной, а потом попросил, чтобы ему в ответ почитали свои, а также, чтобы отдавали или присылали рукописи для антологии. Все наперегонки ринулись читать, он с большим интересом слушал, и вообще всё это действие, которое началось в час дня, продлилось до позднего вечера. Я, надо сказать, более трезво и с небольшой долей иронии, а то и тоски, воспринимала иные стихи — там было много сырого, неумелого. А он с энтузиазмом забирал листки, их накопилась уже целая стопка. Кроме того — поручил мне привезти ему то, что передадут для него позже те, кто не успел это сделать в тот вечер. И уже через неделю я выгружала у его дома из своего багажника коробки с рукописями, в которых составитель антологии надеялся отыскать меж плевел добрые знаки.

После этого семинара мы поехали с ним к нам домой:

— Я хочу видеть твоего мужа, вези меня к нему! Вези меня к батюшке!

Поехали по заснеженной Москве, остановились у винного магазина в высотном здании гостиницы «Украина», пробыли там еще минут сорок: Евтушенко ведь не мог просто так пройти куда-то и выйти незамеченным. Нет, он перевернул весь винный отдел, его узнали, повели в подсобку, вывели с бутылками какого-то австралийского вина (французское не годится, у них там, оказывается, полегла лоза, они вместо неё посадили другую, привезенную чуть ли не из Крыма, и выдали за свою, прежнюю). Читал им стихи, а как же без этого? Провожали его все — вместе с грузчиками: народная любовь!

А ведь и правда. Сидели мы как-то летом у нас на веранде в компании поэтов — и местных, и приехавших из Москвы. Даже гитара была у Ефима Бершина. И увидели, как по дорожке к нам приближается Евтушенко. Кто-то затыкнул, Ефим тут же подыгрывал на гитаре:

— Бежит река, в тумане тает,
Бежит она, меня дразня...

И все подхватили, хором:

— Ах, кавалеров мне вполне хватает,
Но нет любви хорошей у меня!

Заканчивали уже вместе с Учителем:

— Ах, я сама, наверно, виновата,
Что нет любви хорошей у меня-а-а!

...А я-то думала: народное! Слова народные, музыка народная... Ан нет. Это — наш с Кудимовой Учитель!

Доехали, наконец, до дачи: наша кибитка медленно продиралась сквозь буран. Выгрузили покупки, а дома не только Вигилянский, но и старшая дочь Александрина — «новый человек»! И Евтушенко почувствовал себя в ударе, стал рассказывать о своих любовных похождениях и о том, что его всегда в них останавливало: если у прекрасной женщины какой-то паршивенький муж, дурной человек, то она уже в его глазах теряла часть своей прекрасности. И наоборот: если муж — прекрасный и достойный, ему становилось стыдно даже мысленно приближаться к ней. Хотя — случалось...

Это оттепель его юности и молодости размыла все берега, это она позволила не только не стесняться своих любовных походов, но и овеяла их романтическим флером. С этих пор перестали считаться зазорными всякие адюльтеры, но «харрасменты» с «абьюзом». Напротив, влюбленным сочувствовали, приветствовали, покрывали их связь, даже если она была сопряжена с изменами, разладами в семье и разводами.

(Помню, как старик, заслуженный литературовед, ушел от своей жены, пожилой, но еще вполне миловидной, с которой прожил лет сорок, к престарелой и довольно страшненькой вдове прозаика. Их приютила у себя актриса, уезжавшая на гастроли. И многие из тех, кто прослышал об этом, говорили с одобрением, окорачивая возможные ханжеские комментарии: «А если это любовь?» Однако, если это и была любовь, ей не суждено было продлиться более дней десяти, поскольку вдова прозаика не умела готовить хотя бы яичницу и кормила своего избранника бутербродами, в то время как он привык к роскошному борщу своей жены, запах которого разливался аж за пределы квартиры, по лестничной площадке...)

Поэтому, я думаю, и Евтушенко не видел ничего зазорного в рассказах о своих любовных победах.

Потом вдруг, смущая мою дочь, поведал какую-то дурацкую историю, как у него в молодости был роман с юной американской студенточкой, отдавшей ему свою девичью честь, а потом он узнал, что она стала главой феминистского движения в Америке.

— Женья! — завопила я. — Что ты с ней в таком случае сделал? Во что превратил юное существо, до чего довел?

Александрина предпочла отправиться спать, а мы просидели, уже по обыкновению, почти до утра, благо мужу не надо было на следующий день служить в храме. На прощание договорились, что отец Владимир освятит Евтушенко дачу, в которой был ремонт, а теперь еще и появилась новая пристройка. Так и договорились — в первый день Рождества Христова.

6

Дом Евтушенко — его переделкинская дача — всегда был гостеприимен: самые разные встречались там люди. Бывал там смотритель его дома в Сухуми — Автандил, симпатичный интеллигентный грузин. Во время грузино-абхазской войны ему отрубили голову и выставили ее на шесте на месте бывшего евтушенковского дома: сам дом сожгли дотла. Бывал священник — иеромонах Вадим из переделкинского храма: это он крестил сына Евтушенко и его последней жены Маши. Бывали художники, писатели, журналисты, дипломаты, американцы с американками, все ели-пили за этими пиршественными столами. Про одну из своих американских подруг Женя сам потом рассказывал с беззлобной усмешкой.

— Мы всегда стараемся их здесь у нас как следует принять, накормить. Моя американская гостья каждый раз мне говорила: ой, я после этих возлияний у тебя потом несколько месяцев сижу на диете! А когда я приехал в Америку и пришел к ней в гости, она произнесла извиняющимся голосом, поставив передо мной плошечку с орехами:

— Прости, у меня ничего больше нет, я — на диете!

Я не удержался, сказал ей:

— Но я-то не на диете!

Пировали у него и поэты — разные: известные и не очень, старые и молодые. Один из них жил в Переделкине в отсутствие хозяина едва ли не полгода, опустошив при этом подвал с запасами вина.

Блок, конечно же, преувеличивал, говоря, что «друг к другу мы тайно враждебны», но к Евтушенко это ни в коей мере не относилось. Была у него одна болевая точка, которая все время напоминала о себе, — Иосиф Бродский. Но и его чувство к Бродскому было не враждебным, это было страдание от глубокой обиды. Абсолютно незаслуженной и неожиданной от автора замечательного стихотворения «Благодарность»: «И пока мне рот не забили глиной...»

Бродский, можно сказать, его на дух не переносил. («Если Евтушенко против колхозов, то я — за колхозы».) Эта активная антипатия скорее выдавала черты самого Бродского, чем говорила о Евтушенко. Один уважаемый литературовед, лично знавший персонажей, предположил, что причиной была застарелая юношеская травма: папа Бродского, еще когда тому было лет восемнадцать, пенял сыну:

— А ты не можешь писать, как Евтушенко?

Несмотря на то, что Евгений Александрович участвовал в облегчении его судьбы, Бродский не просто публично его поносил, но написал, по сути, донос, когда Евтушенко хотели пригласить читать лекции в американском университете, «просигнализировал» администрации, и Евтушенко отказали. Он страдал, быть может, не столько от этого отказа, сколько от этой энергии беспричинной ненависти, исходящей от того, кого он считал собратом.

А я чувствовала к нему нежность. Что-то в нем было от большого нарциссического и в то же время простодушного подростка. Какие-то его немотивированные импульсивные реакции, непосредственность, и если не глубина и высота, то стремление к честности и справедливости. А главное — к любви! «Любите меня!» — доносилось из потайных недр его души. «Любите меня», — читалось на лице.

Это не значит, что он не мог вдруг накинуться на собеседника, как некогда штурмовал моего мужа или вызывал на словесный бой из зала, в котором читал стихи, злобного слушателя, не желавшего аплодировать. Или вот как в последний год жизни, приехав на конгресс Достоевского, проходивший в Питере, уже на прощальном банкете, он вдруг разразился филиппикой в адрес мирного и доброго человека — писателя Алексея Варламова, который всего лишь выразил сомнение в том, что писатели могут

меж собой замирились настолько, чтобы влиться в единый Союз писателей. А Евтушенко как раз призывал мир повернуться к согласию и примирению.

Есть такое искушение — обольститься жизненной полнотой своей собственной души. Оно рождает в человеке непонимание: как же окружающие люди этого не замечают, не чувствуют, не ценят, когда это так очевидно! Посмотрите на меня! Я сейчас скажу вам такое, что вы не сможете отвернуться, не сможете не согласиться со мной, у которого так много всего!..

7

В какой-то момент у Евтушенко появился интерес к Церкви. Но шестидесятники — люди с особым внутренним миром, который слишком привязан к земному и социальному и который, в принципе, нерелигиозен. Нельзя сказать, чтобы они не любили Христа, но Он для них оставался человеком — и только. Это люди по ментальности скорее «горизонтальные», чем «вертикальные»: по преимуществу экстраверты. Представления Евтушенко о Церкви были своеобразными. Ему было непонятно, почему он не может вписаться в храм и читать там стихи с аналая. «Ведь в них много христианского», — добавлял он.

В нем жило христианское зерно: он был милосерден, добр, нелицеприятен. Но он чего-то принципиально важного и главного не понимал, притом что к Церкви его тянуло. Помню, он в очередной раз приехал из Америки в Россию, пришел к нам и требовал, чтобы отец Владимир написал письмо Патриарху, а Патриарх... наладил работу почты в Переделкине. Просто потому, что он, как считал Евтушенко, — вообще самый главный.

Меня поражали в нем его понимание своей профессиональной деятельности как служения — и поэтического, и гражданского, и социального, а также его витальность, его повышенный жизненный тонус: он мог, расставшись с нами ночью, написать к утру стихи или статью. И этим же утром, неутомимый, поехать по разным делам — на радио, на съемки, на выступление, на встречу с друзьями... Он как бы распространялся по горизонтали вширь — стихи, выступления, статьи, лекции, кинофильмы, фотографии, — стараясь захватить собой пространство и время и присвоить их.

И в этой логике понятно, почему он счел чуть ли не насмешкой, когда я ему сказала, что мне нравятся его строки, которые я ношу с собой и все время повторяю:

— Что за строки? — заинтересовался он.

— Простая песенка Булата
Всегда со мной.
Она ни в чём не виновата
Перед страной.

— Как? И всё? — спросил он разочарованно.

— Нет, не всё, — ответила я, порывшись в мешке отроческой памяти, — еще вот это, «Каинова печать»:

— А ветер хлестал наотмашь
невидимой кровью намокший,
как будто страницы Библии
меня
по лицу
били.

Он махнул рукой:

— Старье!

Уже будучи больным, немощным и далеко не молодым человеком, претерпевшим ампутацию ноги, он героически продолжал и писать, и выступать, и ездить по городам России, где его ждали читатели.

Приезжал он и на форум Достоевского в Сосны, где мы с ним встретились едва ли не в последний раз. Он был уже в инвалидной коляске, но с неизменным интересом прикатывал на лекции, на круглые столы, выступал, пускался в полемику, отстаивал собственное мнение. Вигилянского встретил с распростертыми объятьями:

— Мой духОвник!

Именно так — с ударением на «о». И всем потом объяснял:

— Это мой духОвник!

...ДухОвник его и отпел через несколько месяцев в новом переделкинском храме святого Игоря Черниговского и послужил панихиду на его могилке возле Пастернака и Чуковского — среди своих.

Но, стоя у гроба, меня поразила еще и история, которая закончилась (или не закончилась?) здесь.

Когда-то давно в Евтушенко насмерть влюбилась прекрасная юная девушка, которая, как это называлось в старинные времена, подарила ему свою девичью чистоту. А потом она ему надоела, и он перестал ее пускать в дом. Но она все время находила лазейку. Влезет через окно, спрячется за дверью, он приходит, а она ему:

— А я здесь!

Он ее уговаривал оставить его в покое, упрасивал, но она проявляла чудесную изобретательность и упорство. И когда он, вернувшись домой, открыл шкаф и обнаружил ее внутри, то совсем потерял терпение и просто ее грубо выгнал. Но она продолжала его любить. И хранила ему верность всю жизнь.

И вот здесь, в храме, я вдруг увидела ее, худенькую, постаревшую, с букетом прощальных цветов. Она встала у гроба, застыла и простояла так несколько минут, но вся ее фигура — поза, осанка — словно выдавали прощальные слова любви всей ее жизни, обращенные к тому, кто уже предстоял пред порогом в чертоги Божьи.

Он был человеком уникальным, штучным. В нем не было фальши, не было лести, и в каком-то смысле он напоминал евангельского Нафанаила, в котором «нет лукавства». Но возможно, он слишком долго прятался под смоковницей, которой для него были слава, любовь к людям, к жизни, к поэзии, к России, к себе самому — вернее, к словесному дару, к его музыкальной энергии, к мажорной тональности, которые застили ему любовь к Богу.

Я надеюсь, что Господь его под этой смоковницей заметил. Заметил то детское, радостное и порой наивное, что виделось в нем нам на протяжении сорока лет и что мы в нем особенно любили и любим поныне.